

то никто не внял? Не проявил склонности к вышеозначенному мышлению и не соотнес историографию Зощенко с происходившим вокруг? Не понял, что оплевывать художников слова и отрезать у них языки можно и метафорически, хотя есть у метафор странное свойство: вырастая из реальности жизни, они поначалу локализируются в словесном ряду, а потом опять переходят в реальность, воплощаются в некие действия; к примеру, хорошо знакомая нам метафора «критическая дубинка» весьма спорно воплотилась в реальность: режиссера Мейерхольда избивали на так называемых обсуждениях, диспутах, а вскоре его уже и резиновыми дубинками лупцевали по пяткам.

Один за другим исчезали в ночи писатели и поэты. Русские, украинские, грузинские, армянские, татарские. А Зощенко гнул свое: коллекционировал случаи изощренных казней писателей прошлого, подкалывая читающей публике — надо мыслить самостоятельно. Но ни творчество его вообще, ни в частности его стиль несводимы, конечно, к намекам, к аллюзиям, к тому, что впоследствии стало называться «нежелательными ассоциациями». Феномен Зощенко намного сложнее.

Тоталитарное устройство общества и в XX веке, естественно, продолжает искать путей к соединению правителя с литератором. Власть ищет стиля. «Речь идет не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе...» — вещал Сталин в начале своего восхождения, определяя тот облик, который надлежало придать окружающему. Однако стиль жизни людей немалым и без литературного стиля. Стиля языкового, словесного. Был нужен Державин, что ли; и патетично, и задушевно, а в меру даже и иронично славил он екатерининский век; и ко двору был приближен, и в рамках себя удержал, обошлось без опалы. Но где Державина взять? Тут хоть самому, отложив государственные дела, в пору за стихи приниматься. И в Китае явится Мао с его изумительными элегиями, а у нас — едва ли не поэма о целине, якобы сложенная властью предрежающим правителем: Державин Державиным, но писала же Екатерина II и сама художественные произведения, а мы-то чем хуже? На поэтов надежды, а сам не плохой. Но в 20—30-е годы до этого не дошло.

История повторялась с томительным однообразием. Поиски Сталиным своего Державина — тема больших исследований. Кандидаты имелись, но одним не хватало дарования, другим — искренности, третьим — эпического размаха и громкости. Канонизировались Маяковский и Горький, благо, оба умерли при загадочных обстоятельствах и милости к падшим призывать уже не могли, напротив того, из них выжимали лозунги типа «Если враг не сдается, его...». Были обласканы Шолохов, Алексей Толстой, молодые поэты Сурков, Исаковский, Твардовский — на его кулацкое происхождение, адвокат его помучив, закрыли глаза. Энергично работал над созданием стиля жизни язычески радостный Лебедев-Кумач; оказавшись депутатом Верховного Совета РСФСР, он и речи о госбюджете в стихи облекал; вроде бы более плотного слияния политики и поэзии не придумаешь. Но все это было разрозненно, и неведомо было, как объединить роман «Хлеб» и «Страну Муравью», песнопение о широкой, изобилующей лесами, полями и реками нашей стране и какие-то взнесенные откровения небожителя Пастернака. Единого стиля, который оведал бы предписанные сверху нормы мышления и языка, явился бы эталоном, — такого стиля никак не слалось.

ПОРА нам, пора задаться и вопросом о сопротивлении сталинизму: оно все же было. Я имею в виду не столько и не только мальчиков из подпольных кружков и сообществ, а какие-то, на первый взгляд, аморфные проявления крамолы и непокорности: поселян, бежавших из разоренной деревни хоть куда-то, в чернорабочие; заключенных, достигших виртуозности в искусстве «тянуть резину» на всевозможных работах или везу вносить возвышенный смысл туда, где труд был окончательно обесмыслен. И на фоне подобного, никак не организованного, невидимого, но тем-то и могущественного движения открывается мне народность писателя Зощенко. Его подвиг, его деяние, ибо он-то и стал глашатаям искомого единого стиля, показавши всю его жуткую сущность.

С глуповатым, с придурковатым видом созданным им рассказчик продолжает свои исторические разыскания. «Например, однажды римский диктатор Сулла (83 год до нашей эры), захватив власть в свои руки, приказал истребить всех приверженцев своего врага и соперника Мэрия...» — повествует этот двойник писателя. И поскольку слово немалым безжестко, без интонаций, без мимики, нельзя не увидеть: рассказчик невинно помаргивает глубокими глазами, может, даже некрасиво шмыгает носом. «Был, дескать, Сулла; и власть захватил, и приверженцев

своего врага и соперника это самое... В общем, граждане, если враг не сдается... И продолжает: Сулла «назначил необычайно высокую цену за каждую голову», потому как был он «большим знатоком... человеческих душ» (ср.: писатели — инженеры человеческих душ).

Далее следует колоритная сценка из римской жизни (будем, однако, помнить, что переносить современность в античный Рим для русской литературы давно уже стало трюизмом; к примеру, каждый учащийся средней школы знает: «лицинию» Пушкина вовсе ни в каком не в Лициния метит). Сулла «просматривал списки осужденных, делая там отметки и птички на полях». Прервем сие простодушное описание и... Прочитываем роман Анатолия Рыбакова «Тридцать пятый...»: «...Сталин в своем кабинете рассматривал... список зинovieвцев и троцкистов, отобранных им на роль подсудимых... Сталин поставил галочки против фамилий...»

Что это? Рыбаков у Зощенко сцену списал? Скопировал, лишь слегка видоизменив слова: у Зощенко «списки», а у Рыбакова «список»; у Зощенко «про-», а у Рыбакова «рас-сматривал». «Осужденных» — «подсудимых», «птички» — «галочки». Плагиат? Но избавим Рыбакова хотя бы от этих упреков. Не плагиат, а одно из литературных чудес: скорее уж Зощенко каким-то дикийным образом — правда, переселив «отца и учителя» из Кремля в Древний Рим, — копирует то, что будет написано полвека спустя. И, все так же невинно помаргивая, рассказчик у него уверяет: «Да я же про Суллу, диктатора. У меня же и дата стоит, смотрите: 83 год до н. э.». Зощенко создал, прозрел стереотип изображения расправы сановника с соперниками, слил в одном персонаже бюрократа и палача. Дальше же...

Дальше — больше. К диктатору спешают энтузиасты, и каждый держит в руках драгоценную голову чью-то. «Позволь, — говорит Сулла. — Ты чего принес? Это что?» Выясняется, что голова отсечена по ошибке, ее «и в списках нет». «Какая-то, видать, посторонняя голова, — говорит секретарь, — не могу знать...». Сулла ворчит, а убийца, предлагая ему другую голову, невинно оправдывается: «Извиняюсь... Не на того, наверно, напоролся. Была у, конечно, ошибки, ежели спешка. Возьмите тогда вот эту голову. Вот эта голова, без сомнения, правильная. Говорят, есть отдельные ошибки. Конечно, есть. Когда это бывало, чтобы в большом деле отдельных ошибок не было? Никогда этого не бывало. Отдельные ошибки могут быть и должны быть, но в основном чистка правильная».

А теперь признаюсь в мистификации: я сделал монтаж. Сопоставил Зощенко не с Рыбаковым уже, а с его, Рыбакова, героем: к бормотанию перестаравшегося убийцы я приклеил фрагмент из заключительного слова на XIII съезде РКП(б). И подвел, мне кажется, к выводу: примитивизированный, блистательный в своем простодушии, граничащем, впрочем, и с полным идиотизмом стиль Зощенко, голос его рассказчика — гениальная имитация стиля... Сталина? Да. Приблизительно с конца двадцатых годов Сталин становится некоей стилистической тенью, неотступно влачащейся за писателем: куда он, туда и она, эта грозно-грязная тень. Зощенко — в историю, и тень — туда же: овладевает историей, вразумляет историков. Философствует он, и тень философствует. А уж что до политики...

Уже в 1921 году некий милицкий инструктор Рыло предрекал первому из носителей стиля Зощенко, Назару Ильичу Синебрюхову: «Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь». Тут Зощенко прямо-таки накликал — Сталин еще подвизался где-то в тени, а Зощенко уже предрекал его. И его, и ряд его начинаний: «Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой — с носом очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует...». Это, граждане, в каком же году написано было? В 1953-м? Нет, в 1926-м, задолго до лебединой песни «отца и учителя», до задуманных им судилищ над врачами-«врагителями»; но именно в этом году (и опять-таки при страннейших обстоятельствах) был смертельно прооперирован Фрунзе: хирург не то отрезал, что следует.

Совпадения стиля Зощенко со стилем «отца и учителя» и с сюжетами, которыми он украшал бытие державы, разительны. «Говорят иногда, что стариков надо уважать, так как они дольше жили, чем молодые, больше знают и лучше укажут. Я, товарищи, должен сказать, что этот взгляд совершенно неправилен... У нас в Ленинграде один старичок заснул летаргическим сном. Конечно, некоторые говорят, что все дело... Иные говорят, что... Иные думают, что...». Я опять смонтировал речи правителя и писателя: одинаковые риторические приемы, типа глубокомысленных опровержений того, что го-

ворят или думают «некоторые», «иные», тождествен ритм: рассказчик у Зощенко, явно предполагая в слушателях таких же идиотов, как он, вдабривает, ввинчивает им в головы одно и то же словечко или какой-нибудь бесхитростный образ. Кстати, об образах: «...У некоторых наших товарищей закружилась голова от успехов, и они лишились на минутку ясности ума и трезвости взгляда, — вещает один. А другой, опять-таки изображая из себя знатока античного Рима, усердно поддакивает: «Римский император Гиберию... в своей молодости... был даже приятный человек. Но под конец он испортился. У него голова от влассы закружилась. И он наделал чертовски дела по своей жестокости».

На каких-то этапах Сталин и Зощенко — не сам М. М. Зощенко, а его монотонно красноречивый рассказчик — сходятся тесно-тесно, составляя, наконец, содержание, к коему извечно стремилась наша словесность; причем Зощенко вовсе не был персональным пародистом «отца народов». Его стиль — это стиль-обобщение. Он вбирает в себя опыт и плаката, и однообразно барабанивших по мозгам газетных передовиц, и сообщений телеграфных агентств, и словесных потоков, извергающихся из радиорепродукторов, а далее и учебников, и научных исследований-диссертаций, и многомных историй чего-нибудь. Легче легкого составить реестр риторических приемов, сей стиль формирующий. Скажем, задать самому себе некий вопрос и тут же молодецким тоном отвечать на него: «Почему именно Россия послужила... родиной... революции?», «Каковы характерные черты... революции?». Или: «Для чего понадобились Троцкому эти... арабские сказки?», «Для чего понадобилась Троцкому эта вопиющая... неточность?», «Чего хочет сказать автор этим художественным произведением?», — глубокомысленно вопрошает зощенковский двойник. И — сам себе: «Этим произведением автор выступает против пьянства». И тут снова стиль эпохи угдан. Стиль мышления, его полная уверенность в том, что и самую запутанную трагическую историю можно свести к однозначной идее. И в рассказе «Землетрясение» (1930) снова брежит год 1946-й, известный доклад А. А. Жданова, методология коего, в общем-то, и сводилась к устрашающему вопрошению: «Чего хотел сказать автор этим своим...». И полилась на Зощенко грязь, причудливо объединившая монотонные рецитативы его рассказчика с хрустальной лирикой Анны Ахматовой.

МЫ ЛИШЬ начали расчистку наследия прожитых лет: как можем, пытаемся добраться до заговоров, интриг, змеившихся где-то там, на верхах; вникаем в воспоминания чудом спасшихся лагерников. Все это — сфера свидетельств о диктатуре в материальных ее проявлениях. Но есть же еще и диктатура спускаемых сверху жанров мышления. Диктат стиля, порабощение стилем. Тотальное оглушение всех и каждого. Это — сфера стилистики, сфера поэтики; и поэтика, которая и всегда-то была глуща актуальной наукой, просто-таки вопиет, требуя нашей активности.

Зощенко — он-то и стал при «отце и учителе» названным Державиным. Стиль Зощенко — концентрация стиля, который навязывался стране. Главенствующее свойство его я назвал бы неудержимостью. Это стиль манкурта — человека, забывшего о том, что на свете были стихи Ломоносова, Пушкина, Тютчева или Блока; и, кстати, в одной из монографий о Зощенко прекрасно замечено: рассказчик его постоянно сбивается, пытается процитировать что-нибудь из поэтической классики. Только выводы сделаны узкие, а они должны быть глобальными. Простофиля, одну за другой повествующий зощенковский истории, — фигура трагическая: он запечатлен на стадии забывания бывшего до него. И стихов, и молитв, и материнских колыбельных напевов, и драм, и романов. Лишь какие-то осколки, ошметки былого речевого богатства могут мелькнуть в его памяти; а вообще-то он все творит заново, и для стиля его не существует препон.

«Гамлет» Шекспира? И «Гамлета» можно подчинить всемогущему стилю: «Вот, граждане, какая хреновина однажды имела место. В Дании, что ли. А может, и в Португалии. Или, может, в Бразилии, не упомню. Принц один проживал там, в замке. Ничего себе, видный такой. Симпатичный. Так у этого принца папашу братец ихний в спящем виде ухлопал. В ухо ихнее скляночку опрокинул. А в скляночке, между прочим, яд. Ничего не скажешь, аккуратно сработал». И на трех страничках будет изложен «Гамлет», даже с социальным анализом: «Феодалы, они такие». «Преступление и наказание» Достоевского? Что ж, за милую душу: «Вот, граждане, студент один был... Так он старушку пришел. Топором ее тыкнул. Ну, бабуся и лежит на полу, мало чего понимает. Скучает. А тут сестрица ихняя

прется. Ну, пришел студент и сестрицу... А потом, конечно, раскиши по улицам ходит. Или дома лежит на диване, чего-то такое думает...»

«Нам нет преград!» — такова формула этого стиля. Он принципиально не локализован. Он всезнающ. Если угодно, это стопроцентно свободный стиль — свободный от обязанности с кем-то считаться, о чем-то помнить. И когда «везде и учитель» втискивал всю философию в несколько пронумерованных им черт диалектического и исторического материализма, он, в сущности, снова вторил писателю-забывнику Зощенко, состязаясь с ним в умении освободить свою память от разных там Платонов и Кантов, Декартов, Спиноз, Шопенгауэров и прочих реакционных путаников.

Тень влачилась за подлинником, причем отношения покровительствующего и опекаемого оказались даже как бы и перевернутыми: меценат до какой-то поры по традиции поддерживал поэта: Зощенко и орденом однажды пожаловали (= бриллиантовый перстень?). Но пиит решительно перехватывал инициативу, исподволь диктуя своему повелителю манеру выражаться и мыслить. Эту манеру он и доводил до логического ее завершения, показывая конечные фазы ее развития: рассказчик у Зощенко — носитель мышления, к всеобщему насаждению которого дело, казалось бы, шло. Он — вестник, пришедший из каких-то последних, апокалиптических времен; и в своей укорененности среди добрых людей, в наглядности своей он страшнее героев романа Евгения Замятина «Мы». «Все там будем», — вздыхают верующие над усопшими. «Все там и мы будем», — твердит зощенковский рассказчик, мельтешищий среди граждан и гражданочек выходец из некоего интеллектуального инобытия, с какого-то духовного «того света». Он — первый вестник предначертанного вождем грядущего, явленное живые свидетельство полной реализации мыслительных и языковых нормативов, дарованных народам заботливым «отцом и учителем».

Остается удивиться долготерпению власти предрежащих, на глазах у коих творил писатель. А прихлопнуть его какой-нибудь редакционной статьей надо было еще в начале его пути: того, кто слишком уж многое знает, надо вовремя убирать. Зощенко же знал многое. Спихивались: стиль, который всю жизнь разрабатывал Зощенко, наконец-то проявил себя в жутковатых рецитативах его рассказчика; так Мартышка из басни Крылова, узревши свой образ в зеркале, воспылала негодованием.

Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее
хоть чуть была похожа...

Михаила Зощенко постигла участь Даниила Дефо. Что он сделал? По-моему, не возмездило он тех, кто в него плевал. Он переводил с финского; ради хлеба насущного он чинил гражданам и гражданочкам обувь и писал властям имущим отчаянные безответные письма.

Зощенко уникален.

Подвиг Зощенко откроется нам в величии его не сегодня, даже не завтра.

Зощенко встанет рядом с наиболее яркими талантами XX века, зане он предвидел ужас, в который погрузится человек, лишившийся исторической памяти; ее могут похитить, причем и похитят-то ее как-то между прочим, буднично, разве только с вульгарной издевкой, словно бы бряки в бане, сперли, граждане, бряки (мотив утраты, потери, кражи у Зощенко чрезвычайно существенен; его мир населен существами, вынужденными слоняться по улицам то в кальсонах, то при одной галосе; но они по-своему гармоничны, ибо их полудостоность соответствует сопутствующему им полужнанию). Но сегодня хочется верить себя: все-таки ее не похитили. Нам же надо...

НЕВЕСЕЛО слышать мне, что не время сейчас заниматься философическими анализами, изучать, выявлять чьи-то художественные особенности. Наведем мы во всем порядок, тогда, может быть, и займемся ими.

Но не наведем мы порядка в умах, в сознании, если мы какую ни на есть философию и сейчас загасим в себе. Так и застрянем на бесконечном выяснении отношений, в чем-то уличая друг друга, чем-то озлобленно попрекая. По редакциям бега с кипами опровержений, полемических заметок и ехиднейших реплик. Мне такое претит.

И во всяком случае я поэтикой заниматься намерен именно нынче, как чем-то весьма своевременным. Между прочим, мне и своеобразной поэтикой Сталина заниматься хотелось бы: получается интересное.

На том стою: не могу иначе.